

ПОИСК


**ГЕФТЕР** *βета*

- [Архив Гефтера](#)
- [Авторы](#)
- [Популярное](#)
- [Тезаурус](#)
- [Журнал](#)

[Владимир Кантор](#)

## Фагот (маленькая модель советской коррупции)

**Фагот из Большого и философ из «Вопросов философии»:  
КТО КОГО.**

[Карта памяти](#) 07.02.2014 //  205



© Scott Wolford

В редакции наше поколение было как бы на вторых ролях, точнее, наверно, сказать, второсортным, все выдающиеся прошли, а пришли молодые, которые не хотели заниматься советской философией. У кого-то было нечто свое тайное, но помимо коллектива. Время ведь предполагает некое коллективное единство, единое дело, какое? Редактура полупартийных статей? Редактура занимала немало времени, но немало и оставалось.

С этого надо начать, наверно. Мы приходили к 11-ти, через пару часов работа была выполнена. Что делать? Шли обедать в кафе-«стекляшку» с заходом в магазин за бутылкой. Вокруг редакции крутились авторы, кто подлизывался, кто хотел к чему-то приобщиться. Хотелось единства.

Мне упрек был один: «Ты пьешь с нами, но ты вроде и не наш».

В «стекляшку», когда там обедали (с водкой, разумеется) «вопросники», набивалась публика, мечтавшая напечататься в «Вопросах философии» или уже печатавшаяся. Был там такой Володя Черняк, ходивший немного в развалку, черноволосый драчун, у которого выпячивалась нижняя часть живота. Раз в год непременно печатал статью в журнале, доставая всех вопросами о судьбе своей статьи, как важнейшем мировом событии. Он всегда устраивал после публикации пьянку, говорил громко и как свой, хотел выглядеть значительным. Рассуждал при этом о сотрудниках журнала немного свысока. Он был как бы творец, а мы вроде журнальная обслуга. Скажем, он понимал, что Володя Кормер — реальный неформальный лидер редакции. Но не понимал, почему. «Подведет вас как-нибудь Кормер. Чует мое сердце. Есть у него что-то свое за душой. Он не отдает всего себя журналу». «Да, — подхватил Ренька (Рейнгольд, Рене) Садов, прототип главного героя моего романа “Крокодил”, — **надо всего себя отдавать журналу**. Надо жить для журнала. Мы служим большому делу. Даже когда печатаем членов ЦК. Это защищает приличные статьи».

Меня что-то смущало в такой постановке вопроса. Я понимал необходимость профессионализма, понимал, что журнал — это детище, к судьбе которого мы причастны и должны его холить и лелеять, но как-то идея «отдать всего себя» мне была чужда. Я писал прозу, которая никуда не шла, но тут точкой опоры для меня стал Володя Кормер. Он был старше меня на шесть лет, но опыта жизненного у него было много больше, да и круг общения шире. Жена — замечательный скульптор Лена Мунц, уже после смерти Володи создавшая скульптуру Мандельштама, ее друзья по цеху — Андрей Красулин и Дмитрий Шаховской. Дружил Кормер и с Димой Борисовым, автором сборника «Из-под глыб» и крестником Солженицына. Я вырастал все же в профессорском, книжном слое, да и сам был книжным мальчиком, пропитанным Достоевским. Поэтому мне был чрезвычайно интересен круг Кормера, куда он спокойно пускал всех, кого считал своими друзьями. И это очень помогало, что есть еще кто-то, талантливый и сильный, который не стремится влезть в советский писательский мирок. Володя Кормер писал тогда самый большой свой роман «Наследство» о демократическом движении, но с огромным временным пространством — от первой послереволюционной эмиграции до эпохи Красина, Якира и Солженицына. И тут снова я получил жизненный урок: никакого пиетета и поклонения перед великими именами у Володи не было. Был, однако, некий цинизм как защитная реакция тонко чувствующего человека. Если признаться, то поначалу я смотрел на него снизу вверх, признавая его первенство и опытность. Впрочем, элемент цинизма был необходим, чтобы существовать в подцензурном советском журнале, сочиняя при этом несоветские тексты. Вот на определении этих текстов мы с Кормером не сошлись, но, пожалуй, только на этом. Он говорил, что необходимо создавать **нетленку** (так тогда говорилось), которая взорвала бы этот мир изнутри. Я как человек более спокойного нрава спорил и говорил, что текст должен быть неполитическим, называл это (используя советский термин, но с другим содержанием) **объективкой**, то есть историей человеческого сердца, не замешанной на политике. Но советской власти не нужны были ни нетленки, ни объективки. И поэтому доза цинизма помогала выживать, не обращая внимания на подозрительные взгляды, и работать так, будто

мы и вправду «живем для журнала».

На почве этой «жизни для журнала» случались истории, которые можно было бы назвать комическими, если бы в них не было изрядной дозы макабра. Чтобы было понятнее начало сюжета, должен сообщить читателю, что по правилам редакции отвечать на статьи самотека мы должны были в течение месяца. Эти правила печатались в каждом номере на последней странице журнала. Но поскольку самотек в советское время состоял по большей части из статей графоманов и открывателей нового понимания мира на основе учебника диамата, то тянули с прочтением и ответом как можно дольше. Правда, у графоманов было прибежище и защита. Трудно сейчас вообразить, но в те времена любой псих на почве философии, особенно если он был уверен в партийности своих взглядов, мог написать жалобу в ЦК КПСС, что редакция маринует его статью больше месяца. И мы получали из ЦК нагоняй, что нужно тщательнее работать с «текстами трудящихся». Мне как-то пришла статья некоего автора из Белоруссии по фамилии Громыко под названием «Красота, кто понимает!». Я долго не отвечал, потом ответил дежурной фразой, рожденной коллективным редакторским разумом, бессмысленной, а потому и действенной: «К сожалению, Ваша статья не отвечает требованиям нашего журнала, предъявляемым к публикациям подобного рода». Какие требования, какого такого рода — вряд ли кто-нибудь мог объяснить. Но задача была — не отвечать подробно, чтобы не вступать в бессмысленную и очень долгую переписку. У психов всегда много аргументов. Чтобы закончить эпизод с Громыко, скажу только, что буквально накануне отпуска в редакцию вернулась статья «Красота, кто понимает!» с сопроводителькой от инструктора ЦК, который требовал разобраться подробно и ответить не отпиской, а по существу. Главный редактор сказал, что, пока я не отвечу, могу об отпуске забыть. В отпуск я хотел, поэтому с перепугу я за час написал подробнейший разбор статьи, отдал главному на просмотр. Тот поглядел и разрешил отправить по двум адресам — автору и инструктору ЦК. И я уехал в отпуск.

Так вот в один прекрасный день (так обычно начинаются сказания) в редакцию позвонил автор, узнал, кто редактор его статьи, позвал меня к телефону и поинтересовался, как его дела, добавив, что послал свою статью уже больше месяца назад. Голос его звучал приятно, без обычного скандального оттенка, который обычно бывал у долго ждавших ответа авторов. Но и подхалимской интонации не было. Звонил человек, ощущавший себя на равных. «Назовите вашу фамилию», — попросил я. «Рамишвили», — ответил он. Фамилия мне ничего не говорила. Но я все же с фальшивым энтузиазмом воскликнул: «Ах да, я прочитал. Сейчас собираюсь заняться редактированием, позвоните мне через пару дней. И извините за задержку ответа». «Ну что вы, — ответил мне приятный голос, — да я неподалеку от редакции. Если не возражаете, я найду, и вы мне покажете ваши замечания». Оторопело я ответил: «Ну, разумеется». И бросился к своему столу. Статьи, пришедшие самотеком, лежали у меня в правом углу. Стопка текстов уже была изрядная. Как назло, я не мог вспомнить фамилию Рамишвили среди авторов. Я нервно начал снимать статью за статьей, на всех статьях фамилии авторов выделялись крупными буквами, мелкими шло названия. Фамилии Рамишвили найти не мог. Осталось две статьи, где не было фамилий. Иногда ведь авторы пишут свои фамилии в конце статьи. Отлистнув последние страницы, я, наконец, с облегчением увидел подпись: Г.З. Рамишвили. Я взглянул после этого на заглавие статьи и понял, что сразу по получении текста я должен был бы отправить его обратно с нашей классической формулировкой: «К сожалению, Ваша статья не отвечает требованиям нашего журнала, предъявляемым к публикациям подобного рода». Но я этого не сделал. Теперь надо было расплачиваться, что-то придумывая на скорую руку. Дело в том, что статья называлась «Ленинская теория отражения в балетном искусстве». На дворе стоял 1978 год. Власть казалась прочнее некуда. Как пишет *Google*, «в 1978-м советские граждане празднуют 60-летие ВЛКСМ, знаменательные события на орбите, как то запуск космического корабля “Союз-28” с первым международным экипажем в рамках программы “Интеркосмос”, готовятся к Олимпиаде, поют песни Окуджавы и Визбора, слушают Высоцкого и Пугачеву». Ну и т.д. В общем, массовых посадок и расстрелов нет, пражские события позади. СССР сродно монтирует и у своего социализма человеческое лицо. Хотя впереди польская

«Солидарность». Поэтому тема насчет ленинской теории отражения в балете на фоне Визбора и Высоцкого звучала диковато. Еще в памяти были живы слова о возвращении к ленинским нормам партийной жизни, но уже было ясно, что это за нормы! А уж к балету применялись лишь строчки бардовской песни, что «в отношении балета мы впереди планеты всей». Но фокус-то был в том, что я и возразить ничего не мог, огульно откинуть текст из-за слов о Ленине я не мог, ибо ни строчки не прочитал в его статье.

Я принялся быстро перелистывать страницы, стараясь ухватить недочеты и промахи, но ничего другого сказать я не мог, только одно: что ленинская теория отражения не может служить каждой бочке затычкой, как бы защищая Ленина, хотя каждая строчка автора и каждая цитата из Ленина раздражали меня неимоверно. И, конечно, как и бывает в водевилях и в жизни, за дверью послышался громкий, немного разбитной, но приятный баритон: «Скажите, где я могу найти Владимира Карловича?» Видимо, ему показали дверь в нашу комнату, поскольку она открылась, просунулась сначала крупная голова с горбатым носом, а потом вошел и ее хозяин — во фраке, белой манишке, черных брюках в обтяжку, оглядел комнату и почему-то сразу направился ко мне, будто почувствовал или кто-то ему нашептал. Протянул обе руки: «Меня зовут Герман Зиновьевич Рамишвили. Мне сказали, что моя статья попала к вам. Хотелось поговорить с человеком, который своими мудрыми советами поможет мне». Я озадаченно смотрел на его фрак и белую манишку. Он схватывал все моментально: «У меня сегодня вечером в Большом театре опера, я там играю. Это моя производственная одежда. Я же фаготист, первый фагот Большого. Кстати, — воскликнул он, улыбаясь, будто эта идея только что пришла ему в голову, — я слышал, что ваш сын — музыкально одаренный мальчик. Могу поспособствовать, чтобы его приняли в школу фаготистов, прямо без экзаменов. Мое слово там много значит, а у него будет всегда неплохой кусок хлеба с маслом». Подкуп был прямолинеен и очевиден. «Не надо об этом, давайте лучше перейдем к вашему тексту».

Человек улыбнулся, как ему, очевидно, казалось, обаятельной улыбкой: «Хорошо, давайте не связывать школу фаготистов и статью. Я все же представляю школу Большого театра». Я сумрачно ответил, что моя жена кончала Гнесинку и училась вместе с тогдашней первой виолончелью Большого — Димой Миллером и, если надо будет, найдет сыну учителей. «Понял, все понял, — отозвался Фагот. — Но могу ли я проводить вас до метро и побеседовать по дороге? Как мне видится, моя статья вам не понравилась. Хочу понять, что надо сделать, как ее доработать. А вам могу предложить на завтра два билета в Большой — на балет, причем бесплатно». Но, глянув в мое очевидно что-то неприязненное выразившее лицо, снова воскликнул: «Понял! Не предлагаю». Я, помню, даже обрадовался, что он понимает хотя бы что-то. Но он не понимал. Вдруг он наклонился и с интонацией заговорщика шепнул: «Может, выйдем во двор, там поговорим».

В те годы редакция располагалась на первом этаже небольшого особнячка (Смоленский бульвар, 20), который впоследствии у нас оттяпала одна финансовая структура: деловых людей в редакции не было, и противостоять грабителям мы не сумели. А структура занималась распределением путевок. Вначале мы выделили им по просьбе начальства, стоявшего над журналом (имен называть пока не буду), одну комнату, но начальство получало бесплатно шикарные путевки в шикарные места отдыха. И вот уже мы (целая редакция, 12 человек) остались в одной комнате, а потом нас и оттуда выкинули. Как в сказке про лису и зайца. У зайца была избушка лубяная, у лисы ледяная. Попросилась лиса к зайцу погреться. Чем это все кончилось, думаю, все помнят. Но это уже в перестройку. Пока же даже двор, куда мы вышли, принадлежал нам. Была поздняя осень, едва ли не конец ноября, а то и декабрь, но было тепло, что-то вроде неожиданного бабьего лета.

Рамишвили оглянулся, будто опасался подслушивания, потом сказал полушепотом: «Понимаю, вы не любите Ленина, и вам не понравилась ленинская тема в моей статье». Я пожал плечами: «Да у вас другой и нет. А статья вроде бы о балете». Надо сказать, ленинская

тема в интеллигентских полудиссидентских кругах давно стала предметом макабрических шуток: говорили о духах «Запах Ильича», пудре «Прах Ленина», трехспальной супружеской постели «Ленин с нами», ну и венцом была игрушка для интеллигентов — маленький Мавзолей, из которого при нажатии кнопки выбрасывалась фигурка с надписью «Сталин». И я продолжил: «Вы же музыкант, который решил написать статью о музыке в философский журнал. Так и пишите о музыке, о творчестве исполнителя. Надо посмотреть тексты великих композиторов и исполнителей, и вполне философические тексты. Почитайте хотя бы Вагнера, Листа, нашего Скрябина, а в XX веке Шенберга, Теодора Адорно. Их тексты изданы и вполне доступны. О музыке и музыкантах писали и великие писатели — Гофман, Лев Толстой, Ромен Роллан. Почитайте для начала их». Он погрузился, даже нос опустил: «И все это надо прочесть, чтобы написать в ваш журнал маленькую статью?» Я ответил довольно резко, разговор представлялся мне вполне бессмысленным: «Не хотите — не пишите. Никто вас не заставляет». Он выставил вперед ладонь, не соглашаясь, как бы возражая. «Нет-нет, — сказал он, — писать я буду, мне надо. Но хотел бы совета о профессионала». Я снова пожал плечами: «Видите ли, тут нужен музыковед, но у нас не бывает музыковедческих статей, нужна философия музыки». Он как-то не то хрюкнул, не то гмыкнул, короче, издал какой-то горловой звук, взял меня за локоть: «Может, пойдём куда-нибудь посидим, я приглашаю». Это была европейская формула, которой я тогда не знал: типа, все за мой счет. Но смысл я понял, к тому же с детства не терпел, когда меня брали за локоть, обнимали за плечи и т.п. Это нарушало мое пространство. И я снял его руку со своего локтя, тем более что пахло типичным алкогольным подкупом. «Спасибо, — ответил я твердо, — извините, но с авторами, особенно до публикации текста, не хожу в кафе и не выпиваю никогда». Он склонил голову над папкой, которую прислонил к перилам лестницы, что вела в особнячок, и сказал: «Кажется, запомнил. Вагнер, Лист, Скрябин, а что именно Гофмана и Толстого? Но вот, может, понравится вашей жене? Два куса очень хорошего мыла». Мы, конечно, жили бедно, но нам хватало и на еду, а порой и на выпивку, квартира была родительская, а про хорошее мыло я вообще никогда не слышал, даже не понимал, что такое — хорошее мыло. Было туалетное мыло — «Красная Москва», «Кармен», «Ландыш», «Гвоздика», «Детское». Других я не знал. Он вытащил из папки два странных бруска, завернутых в цветные бумажки. Теперь, вспоминая, полагаю, что это было что-то вроде *Fa*, *Palmolive* или *Safeguard*. Но это показалось мне чудовищно унижительным. Как известно, «у советских собственная гордость...» А несмотря на неприятие режима, по мироощущению были мы вполне советскими людьми. Я почти отпихнул его руку: «Да вы что!» Он смутился, но руку не отдернул: «Да вашей жене понравится». «И разговора быть не может», — я отвернулся и пошел к крыльцу. Потом все же повернулся (вежливый все же): «Читайте, пишите, приносите черновик». Он постоял, крутя головой, потом все же вернулся в редакцию. Не заходя к нам, зашел к ответственному секретарю и подарил ему два билета в Большой театр на балет. Об этом Леонид Иванович Греков, наш ответственный секретарь, сообщил нам, зайдя в нашу комнату: «Интересного автора Владимир Карлович нашел. Или он вас нашел, а, Владимир Карлович? Вот два билета в Большой подарил. Редкость большая. Вы уж помогите ему в работе над статьей. Хорошим людям надо помогать».

Вечером дома жена сказала, что звонил некто и предлагал сына Митьку устроить в школу фаготистов. «И ты?» Она тряхнула черными волосами, поглядела на меня иронически: «Отказалась, конечно. А зачем ты даешь домашний телефон непонятно кому. А кто это был?» Что я мог ответить? «Придурочный какой-то. Пытается статью пробить. Он из Большого! Первый фагот». Жена подняла палец: «О! — воскликнула она. — Надо Димлеру (Димке Миллеру, ее соученику по Гнесинке) как-нибудь позвонить. Спросить, что это вдруг фагот в “Вопросы философии” полез. Прямо Коровьев какой-то!» В те годы «Мастер и Маргарита» стала настольной книгой советской интеллигенции, а три демона (Коровьев-Фагот, Бегемот и Азazelло), не говоря уж о Воланде, — наиболее цитируемыми литературными персонажами. «Тот тоже был большим пронырой», — заметила жена. На этом разговор о Фаготе-Рамишвили завершился. Потом были суббота и воскресенье, и я забыл о нем.

В понедельник — снова редакция, где я получил задание ехать в Литву, мол, сегодня в

понедельник едут зам. главного Андрей Филиппович Полторацкий и Рейнгольд Владимирович Садов, они просили, чтобы и ты поехал. Так что, Владимир Карлович, поезжайте за билетами. Во вторник я уехал в Вильнюс (это особый рассказ). Выпито водки там было столько, сколько я не пил никогда — ни до, ни после. Это была дешевая покупка литовскими товарищами старших братьев из Москвы. А русский человек на халяву, как известно, пьет без меры. Но не буду прерываться. Короче, в редакции я оказался через неделю. И вдруг с удивлением узнал, что Рамишвили без меня повадился заходить в журнал. Вначале он заходил и спрашивал Владимира Карловича, по дороге заглядывал к ответственному секретарю Грекову, здоровался с ним, здоровался с женщинами редакции, принося каждой какую-нибудь мелкую безделушку. Как подойти к мужикам редакции, он не знал, не умел. А женщины уже встречали его улыбками.

«Какой у вас хороший и обходительный автор», — сказали мне дамы из технического отдела. Почему-то я сразу понял, кто это. Да и он тут же появился. Он шел ко мне навстречу, не то протягивая руку для рукопожатия, не то примериваясь к объятию. Я невольно отстранился, и он просто протянул мне руку: «Владимир Карлович, дорогой, вот вы и вернулись. Я прямо соскучился. Очень не хватало ваших советов. Я, конечно, читаю те книги, что вы мне посоветовали, но моим мозгам непривычно воспринимать такую информацию. Теперь вы вернулись, и я рассчитываю на вашу помощь». Я вздохнул, но это была моя работа, за которую я получал деньги. «Что же вас так смутило в этих текстах?» Он улыбнулся мне как сообщнику, который все должен понимать: «Ни слова из них запомнить не могу. Ни одной цитаты до их пор не выбрал». Что было сказать? Я сказал: «Вы только начали, работайте, читайте дальше».

Но, разумеется, ему надо было сейчас или, в крайнем случае, завтра. «Я тут затеял дело продовольственной помощи вашему журналу, Леонид Иванович меня поддержал. Вас мы тоже включаем, конечно», — он подморгнул мне. Я опять настороженно отодвинулся: «Что это значит?» Что-то откровенно нечистое было в тоне и ухватках первого фаготиста Большого театра. «Как что? — удивился Фагот. — А продуктовые заказы?» Надо напомнить читателю, что, хотя перестроечного продуктового дефицита, когда магазины стояли вообще пустые, заваленные приправой «хмели-сунели», еще не было, но я тогда придумал создать «Красную книгу исчезающих пищевых продуктов». Идею со смехом поддержали. Но дальше клюквы в сахаре мы не пошли. Потому что другие продукты время от времени еще появлялись. А клюква в сахаре, казалось, исчезла навсегда. В больших учреждениях существовала система заказов, когда раз в неделю можно было подобрать по нормальной цене те продукты, которых уже не было в магазинах. Но редакция была мелкой структурной единицей, и заказов у нас не было. Так что Рамишвили как бы восстанавливал по личной инициативе справедливость. «Пожалуйста, только без меня. Я в это не играю». Фагот все чуял, как зверь: «Не хотите быть мне должным. Да и я не хочу вас ни к чему приневоливать. А книги я буду потихоньку читать. До Нового года все прочитаю, обещаю».

Я вернулся в редакцию. Он, в задумчивости покрутив головой, отправился по своим делам. Шли дни, Рамишвили шнырял временами в редакцию, каждую пятницу какие-то люди приносили свертки — продуктовые заказы прямо в кабинет Главного Вадима Сергеевича, кабинет его заместителя Андрея Филипповича и кабинет ответственного секретаря Леонида Ивановича. Все догадывались, кто творец этого изобилия, и смеялись: «Твой автор, а ты не получаешь ничего». Со мной Рамишвили иногда тоже об этом позволял говорить: «Владимир Карлович, ха-ха, завтра у нас операция “Стендаль”, ведь праздники приближаются. Вас не включить?» Стендаль был когда-то моим любимым писателем. Но я не понял, что имелось в виду. «Как что? — удивился Фагот. — “Красное и черное” ведь его роман? Вот в заказах предновогодних будет красная и черная икра». Честно сказать, соблазн был поставить на новогодний стол икру. Но принятый стиль поведения требовал строгости, да и как-то несимпатично было — получать то, что другие не имели. И я опять отказался. Все равно Новый год был веселый и без икры.

Стоял январь, снег счищался с мостовых и тротуаров, и уже по обочинам расчищенных дорог и дорожек высились огромные сугробы. И вдруг 14 числа, когда я пришел в редакцию, секретарь Таня передала мне конверт. А в нем два билета в Большой театр на «Князя Игоря» на 16-е января — с запиской, осторожно-лаконичной: «Это не совсем подарок. Стоимость билетов 80 рублей. Отдадите мне на спектакле, я там играю». Даже моя щепетильная жена сказала, что это можно принять, что деньги мы найдем. Добавлю, что моя месячная зарплата составляла 120 рублей. Так что на подкуп это не тянуло. 16-го я, правда, работал, но спектакль был вечерний, я успевал, и мы договорились с женой Милой встретиться перед входом в Большой. И все бы хорошо, но в этот день, как часто бывало, мне друзья передали на пару суток тамиздат — несколько номеров «Континента» и, как помнится, маленькую книжонку Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», еще первое, амстердамское издание 1969 года. Поскольку нигде портфель сдавать было не надо, я уложил туда книги и отправился в театр. У входа жена Милка сказала, что она созвонилась со своим приятелем, первой виолончелью театра, Димкой Миллером, и после окончания оперы он ждет нас в буфете, мол, есть, что отметить. «Смотри, не напейся, все же Большой театр», — сурово сказала жена, обычно в домашних условиях не очень контролировавшая меня. «Не в театре дело», — ответил я. Я открыл портфель, попросил ее заглянуть туда и посмотреть, что за книги. А потому, добавил я, надо, чтоб она следила за тем, как я выпиваю, — не потерять бы портфель. Мы сидели, кажется, в партере. Во всяком случае, на хороших местах. Голоса были чистые, но если честно, то не помню, кто пел. Князь Игорь был удачен, не переигрывал. Ария Кончака мне понравилась, как всегда, как и половецкие пляски. И дружбу Кончак обещал, и девушек.

В перерыве появился и двинулся к нам по проходу мой Кончак, мечтавший о дружбе со мной. Фагот подошел с широкой улыбкой на горбоносом лице. Я представил ему жену, а потом сразу же протянул восемьдесят рублей. «Ну, зачем же так сразу! — воскликнул Фагот. — Тогда я приглашаю вас в буфет, чаю возьмем, по бутерброду, с чем захотите». Мы пошли. «Только плачу сейчас я, — сказал Рамишвили. — Я вас пригласил. А потому это мое право — право первой ночи. Да и потом я могу без очереди». Он посадил нас за столик, сам побежал к прилавку и через пять минут принес два стакана чаю и тарелку с четырьмя бутербродами — два с бужениной, два с красной икрой. «А я не буду сейчас, мне нельзя, еще играть». Но за столик все же присел и сказал жене: «Вот уговорите мужа заказы получать. А то он привел меня в редакцию, редакция пользуется, а он отказывается» Все было неправдой. Я его в журнал не приводил, редакция не пользовалась, пользовалось заказами только начальство. Возразить я не успел, к нашему столику подошел бывший соученик жены по Гнесинке, первая виолончель Большого Дима Миллер. Он пожал мне руку, поцеловал в щеку мою жену и сказал, что после оперы ждет нас в буфете. Вторая виолончель ставит ему бутылку за протекцию в Большой. Рамишвили встал: «Ну, я пошел, — и добавил, обращаясь ко мне. — Я вам позвоню, понравилось ли вам...» Кивнул Миллеру, первой виолончели, и ушел. «Вы что, в ссоре?» — спросила Милка. «Вроде нет, — ответил Миллер, — но чего-то в нем не то, а что — не пойму».

После окончания действия мы спустились в буфет. Буфет уже был закрыт. Какой-то белобрысый молодой человек (потом выяснилось, что это и была вторая виолончель) выпрашивал у буфетчиц стаканы и две бутылки фруктовой воды. Вернулся к столу, расставил стаканы. Четыре штуки, вынул из наплечной сумки бутылку, как оказалось, питьевого спирта, 96%, довольно свободно поставил бутылку на стол, достал из сумки какой-то сверток из промасленной бумаги, развернул его, там было три куска хлеба, намазанные маслом, а сверху на каждом по две шпротины. Димка потер руки и сказал: «У него боевое крещение в Сибири было, оттуда бутылка. Он только вчера прилетел». Как помню, белобрысый все время молчал, только действовал. Разлил спирт по стаканам, открыл бутылки с водой, чтобы было чем запивать, разрезал каждый бутерброд перочинным ножиком на четыре части и посмотрел на кучерявого остроглазого Миллера. Тот поднял стакан: «За вторую виолончель!» Мы выпили, тут же запили пенящейся фруктовой водой и проглотили по кусочку бутерброда. Милка спросила: «А чего-нибудь более существенного для закуски достать нельзя?». Ее соученик по

Гнесинке ответил, улыбаясь легкой улыбкой: «Нет, не сообразили вовремя купить. Придется так пить. Ну, будем!» И мы снова выпили. «Послушай, — спросил я, чувствуя некую развязанность языка после пары глотков спирта, — а что ты не поделил с Рамишвили? Вы, кажется, очень отчуждены друг от друга». Димка ответил: «Потому что моя сволончель важнее его фагота. А если серьезно, то многого не понимаю. Зачем хорошему музыканту (а он классный) становиться председателем профкома, зачем подавать заявление о приеме в партию, зачем писать статью в “Вопросы философии”? К его музыкальному статусу это ничего не прибавит. Ты сам-то как думаешь?» Я пожал плечами: «Я об этом не думал. Мы привыкли, что к нам в журнал все стремятся». Димка ответил: «То-то и оно, что непонятно. Ладно, продолжим выпивание». Бутылка опустела на треть, а допить ее надо было до конца, как требовал джентльменский кодекс. Димка Миллер встал и произнес голосом конферансье: «Объявляю. Ча-айковский! Оперетта Кальмана “Марица”!» Я знал, что это шутка еще гнесинских времен. И все это знали. Тем не менее, выпили. Закуску смели всю. А спирт еще оставался. «Может, оставим здесь?» — спросила жена. Миллер отрицательно помотал головой: «Нельзя. Вторую виолончель обидим. Все же из Сибири бутылку вез». И тут к нам подошел местный охранник, он же привратник, здоровенный мужик с лопатообразными руками, взял меня за плечо (своих музыкантов он тронуть не решился): «Шли бы вы отсюда. Театр закрывать пора!» Если бы он меня не тронул, я бы смолчал, но тут, проспиртованный в буквальном смысле слова, я оскорбился и взорвался: «Да как вы смеете! Лапу убери с плеча!» Он ответил: «Сейчас выкину!» Я привстал: «А ну попробуй! Зверюга!» Он вдруг смягчил тон: «Ладно, пройдемте в комнату, где мы принимаем таких посетителей!» Я встал, меня покачивало: «Пойдем». Вдруг Милка потянула меня за руку вниз: «Присядь, товарищ прав, пора идти!» Я взорвался, вырвал руку: «Ты что?! Обалдела?» Но она так глянула на меня, что я понял: что-то не то происходит. Вместе с музыкантами она вытащила меня из театра и подвела к сугробу: «Сунь туда голову, сунь, сунь! И вспомни, что у тебя в портфеле!» Я был настолько пьян, что позволил собой управлять и сунул голову в сугроб. Снег освежил, я протер лицо мокрыми холодными руками. И вспомнил. Лихорадочно открыл портфель. Книги были на месте. «Спасибо, — только и прошептал я. — Даже вообразить страшно». И мы поехали домой. Фагот, конечно, был не виноват в этой истории, но почему-то, вспоминая его, я всегда вспоминал наш поход в Большой, чуть не кончившийся печально.

На следующей неделе Фагот появился в редакции: «Как вам “Князь Игорь”? Понравился?» Разумеется, я поблагодарил его, как мог сердечнее. И спросил: «А как у вас статья? Идет?» Он ответил, улыбаясь тоже вполне сердечно, но слишком сердечно: «Стараюсь, дорогой маэстро! Вы ведь в своей области маэстро! Леонид Иванович вас очень хвалит». Леонид Иванович Греков, ответственный секретарь журнала, относился ко мне по-разному, все время подозревая во мне некую советскую неортодоксальность. Но, похоже, профессиональные качества ценил. Рамишвили вдруг раскрыл портфель, достал бутылку армянского коньяка три звездочки, коробку шоколадных конфет и сказал: «Могу ли я сделать скромный взнос в общую копилку журнала?» Я бы и отпихнул его руку, но бутылку увидели друзья-коллеги, а у нас оставалось еще несколько дней до получки, денег ни у кого не было, а выпить хотелось. И сразу раздался голоса: «Володька, ты что прячешь от нас такого замечательного автора! Как вас зовут? Герман Зиновьевич? Вы сами-то к нам присоединитесь, Герман Зиновьевич?» Фагот присел на стул, именно присел, а не сел, пригубил коньяк из рюмки и добавил: «Может, я схожу еще за одной? Я пошел». Никто не возразил. Минут через пятнадцать он вернулся с парой бутылок и большим куском нарезанного сыра «Советский». Тогда этот сорт был из приличных. С этого дня он стал своим человеком в редакции, называл всех на ты, меня тоже (и не возразишь, когда всех так называет!). Да еще и по имени: «Володенька». Но заказы он по-прежнему поставлял только руководству журналу. Операция «Стендаль» шла своим чередом.

Примерно за неделю до майских праздников меня вызвал к себе ответственный секретарь Греков. «А почему, Владимир Карлович, вы отказываетесь от продуктовых заказов, которые присылает наш друг Рамишвили? Давно хотел спросить». Я ответил честно, как и думал: «Не хочу быть обязанным. Не хочу, чтобы он имел право нечто попросить меня». Греков



вздыхнул, сел за стол, полистал бумаги, поднял наконец десяток страниц, напечатанных на машинке: «Это статья нашего друга Рамишвили. Он сделал ее по вашим советам, но вам показать не решился...» Я посмотрел вопросительно: «Ну и?..» Он опять вздохнул: «Не получается у него. Придется вам, Владимир Карлович, помочь ему...» «То есть?» Греков улыбнулся, протягивая мне странички: «Вот полистайте. Но, думаю, много здесь не найдете. Надо сесть и написать заново. Это просьба руководства. Впереди у вас майские праздники, десять дней. Это же искусство, тема вам близкая. Вот и поработайте. За это, скажем, можете прибавить лишних три дня к своему отпуску. Главный согласен. Это вам вознаграждение от руководства журнала».

Просьба руководства — это все равно что приказ. Особенно, когда уйти некуда, а семью кормить надо. В конце концов, это была не партийная статья, хотя в музыке я смыслил мало. Но зато вдруг возник интерес, а смогу ли я врубиться в незнакомую тему, чтобы текст получился достойным центрального философского журнала. И на партийности тут выезжать нельзя, ленинскую теорию отражения в балетном искусстве я забраковал. Я, конечно, не принимал тезис Садова, что **для журнала надо жить**, да и начальство не есть журнал, но чтобы не вылететь из журнала, чтобы не потерять журнальную команду, как матросу команду корабля, с которой за годы работы сроднился, надо написать.

Редакционные друзья смеялись, советовали запастись выпивкой, чтобы дело пошло скорее. «И проверь, кстати, — серьезно сказал Мудрагей, — нет ли у твоего Фагота копыт. Уж больно быстро он обвел все наше начальство». Но я проверять не стал (да и как проверишь!), водки тоже не купил, а запасся текстами Вагнера, Листа, Скрябина и тому подобных гениев. У соседки оказался том Асафьева. Обложившись книгами и придумав название статьи, которое задало бы сюжет изложения. Под это название я подбирал цитаты классиков, связывая их посильными своими рассуждениями, стараясь не выбиваться из стилистики и идей композиторов и музыковедов. Что касается философии, то одного Вагнера хватило бы на толстую книгу, но у меня было не исследование, а некоторый элегантный пробог по текстам внутри моей темы. Вообще, еще тогда я заметил, что писать за другого человека гораздо легче, чем писать свое. Меньше ответственности перед высшими силами. Потому что когда пишешь свое, то стараешься добиться, пробиться к какой-то сути. А тут ты не обязан искать сути. Назвать это журналистской работой? Можно и так.

Короче говоря, после майских праздников я принес в журнал готовую статью, и Греков сказал: «Ведь можете, если вас поприжать...» И хихикнул довольно. На что я довольно злобно ответил, что его слова напоминают мне тезис товарища Сталина о возможности построения социализма в одной отдельно взятой за горло стране. «Ну, вы не очень-то давайте волю языку, а то никакие ваши таланты не помогут». Он прочитал вслух заглавие: «Философия музыки и творчество исполнителя». Подумал минуту, та ли это плата за еженедельные подношения, и осторожно спросил: «Но вроде наш друг хотел, чтобы текст был связан с ленинской теорией отражения... Не так ли?» Я немного обозлился: «Но вы же философ и должны понимать, что эта теория к музыке никакого отношения не имеет. Я написал о философии музыки и творчестве исполнителя. Считаю, что это немало. Ведь даже самая красивая французская девушка, — ухмыльнулся я, уходя в шуточный регистр, — не может дать своему кавалеру больше того, что имеет». Греков засмеялся: «Ну ладно, подаем на редколлегию!» Тут открылась дверь, и в проеме показалась голова Рамишвили. Меня он не заметил и спросил Грекова: «Ну как?» Тот ответил: «Можете благодарить Владимира Карловича, статья готова. Сдаем завтра на редколлегию, сам подпишу на ксерокопию». Фагот шагнул в кабинет, широко раскрывая объятья: «Володенька, но я всегда говорил, что ты гений! Леонид Иванович, ведь я это говорил?! Надо его как-то поощрить, — говорил он как имеющий доступ в начальственные секреты и раскладки, — хорошо поработал!» Мы вместе вышли из кабинета. «Операция “Стендаль” расширяется... Сколько у вас членов редколлегии? Ты по-прежнему не участвуешь?» Я твердо ответил, может, даже зло: «Нет. Не участвую». Рамишвили хмыкнул: «Ох, зря! Ведь икру необязательно в праздники лопать...»

«Давай подождем, что скажет редколлегия, — ответил я. — Не надо забегать вперед!» Он ухмыльнулся, нос его словно даже еще потолстел и вытянулся, обозначив отчетливо горбинку, глаза заискрились, и он внезапно похлопал меня по плечу: «“Стендаль” никогда не подводил. Увидишь!» Я вдруг спросил: «А сам-то ты “Красное и черное” читал?» «А зачем мне. Мне друг Володька перескажет, если что», — хихикнул Рамишвили. Я махнул рукой и пошел в комнату, где сидели редактора. Ребята, видя мое расстроенное лицо, только спросили: «Принял Греков статью?» Я кивнул. Больше на эту тему не говорили. Только с интересом наблюдали, как практически на каждую редколлегию поступали заказы для наших именитых ученых. И ведь никто не отказывался. Статью, разумеется, приняли.

Сейчас, читая о постсоветской коррупции, вспоминаю эту историю. И понимаю, что невысокого ранга начальство в советские времена стоило много дешевле. И не только начальство. В начале перестройки ходила история, как из Грузии везли два вагона левой продукции в Москву. Стрелочнику, чтобы он пропустил вагоны, предложили десять тысяч долларов. Он так перепугался, что тут же донес на коммерсантов. Потом говорил приятелям-собутыльникам: «Дали бы на пару бутылок, я бы их, конечно, пропустил. А тут уже чем-то страшным пахло». Фагот это прекрасно понимал. Денег ни коем случае не предлагал, а организовывал услуги, в которых нуждались даже начальники. Вариант коррупции, хотя и мелкой.

И вот наступил август, и вышел номер, где стояло: *Рамишвили Г.З.* Философия музыки и творчество исполнителя // Вопросы философии. 1979. № 8. С. 143.

Друзья предложили мне отметить избавление от египетского рабства. И выпить по этому поводу. Я и вправду себя чувствовал, будто достроил пирамиду какого-то безвестного фараона. Кто-то из ребят сбегал за бутылкой, поставили ее под стол за тумбу, стакан в ящик стола, туда же и порезанную колбаску. Едва успели выпить каждый по чуть-чуть, как в дверь заглянул длинноносый Рамишвили, констатировал: «Отмечаете!» И тут же добавил: «Я вам еще принес, чтобы за Володьку как следует выпили! Такого редактора у меня еще не было!» Оставил бутылку водки и скрылся в коридоре. Мудрагей, любивший все договаривать, буркнул: «Вот гад! Так ты, оказывается, редактор, а статью он писал, что ли?» Я отмахнулся: «Скинул, и слава Богу!» И снова открылась дверь, вошел Греков, повел носом, как всегда делал, когда хотел показать, что догадывается о нашей пьянке. Кто-то судорожно начал прятать бутылку, принесенную Рамишвили, но Греков вздохнул: «Да уж не прячьте. Думаю, Владимир Карлович заслужил небольшой сабантуй за блестящую работу. Только, Владимир Карлович, хочу вам передать официальное приглашение от Германа Зиновьевича, сам он не решился в присутствии такого количества народа. Короче, в следующий четверг он приглашает всю редколлегию и вас в “Славянский базар” на обмывание его статьи. Ждет он нас в три часа». И Греков немного вперевалочку покинул нашу комнату.

Вот и наступил следующий четверг. Начальство покинуло редакцию около часа, и мужики потащили меня в стекляшку. Выпили, потом снова выпили, потом еще раз выпили. «Только смотри, не наклюкайся, — сказал Кормер, — а то честь философского мундира опозоришь. Помни, что Гегель умер от пьянства. Умереть от пьянства имеешь право, но рухнуть мордой в салат нельзя!» Орешин поправил: «От холеры». «Что от холеры?» — переспросил Кормер. Орешин твердо сказал: «От холеры помер Гегель». Кормер ухмыльнулся длинной улыбкой: «Это так в учебниках пишут. Но мы-то знаем». Орешин поправил очки, посмотрел поверх очков на Кормера и сказал: «Ну-ну! — повернувшись ко мне, сказал: — Шел бы ты, Володька, отсюда подальше, в этот, как его, “Славянский базар”. А то еще полчаса с Кормером, и ты никуда не дойдешь».

Я собрался с силами, вышел, надеясь, что по дороге хмель хоть отчасти уйдет. Действительно, к «Славянскому базару» я подошел уже на сравнительно твердых ногах. Войдя, спросил привратника, где заказана комната на «Вопросы философии», заказывал Рамишвили. Меня он

понял и проводил в зал, где уже сидела наша редколлегия.

Во главе стола сидел главный редактор, даже у сидящего живот его явно выдавался вперед. Рядом, полупривстав и разливая по бокалам алкоголь, улыбался всем Рамишвили. Увидев меня, он всплеснул руками и воскликнул: «Давайте поприветствуем моего любимого редактора, самого лучшего в мире редактора! Володечка, иди, садись рядом с Леонидом Ивановичем, мы специально тебе место сберегли». Сам Рамишвили сидел между Семеновым и Грековым, я сел рядом с другой стороны от ответственного секретаря. Напротив Рамишвили сидела блондинка того типа женщин, которых обычно определяют как «миловидная блондинка», женщина лет тридцати. «Жена», — кратко представил ее мне Фагот. Имени не назвал. Перегнувшись через стол, будучи уже навеселе и немного развязен, я поцеловал ей руку. Она мне улыбнулась. Интересно, что еще двум пришедшим членам редколлегии он представил ее точно так же: «Жена». Эта манера выражения почему-то напомнила мне гениальную повесть Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Написав эту строчку, я нашел в гоголевской повести вспомнившуюся сцену, чтобы точнее процитировать: «Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда не видывал. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится. А он бежит, бежит, не чувствует под собою ног... вот уже выбивается из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо. “Ай! кто это?” — “Это я, твоя жена!” с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею; и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена». Но Рамишвили в отличие от Шпоньки отнюдь не робел, а представлял жену, как хозяин представляет свою служанку. «Что ж, — подумал я тогда, — всякие отношения бывают».

Вошел еще Владислав Жанович Келле. «Жена», — представил Рамишвили. Келле тоже поцеловал руку жене, а потом так же Фагот представил женщину и Михаилу Федотовичу Овсянникову, ему уже было за семьдесят, и он только помахал даме рукой. Гости заняли свои места. Теперь все были в сборе. Но здравицу юбиляру, конечно, должен был начать Главный. Семенов приподнялся из-за стола с рюмкой водки в руке и сказал: «Наш журнал всегда рад притоку свежих сил, будь то художник, литератор, музыкант, особенно если человек искусства так замечательно разбирается в философии, как наш дорогой Герман Зиновьевич! Мне было приятно читать текст музыканта, не только профессионала в своей области, но и рассужденчески понимающего философию. Я ведь тоже немного к музыке имею отношение. В школе занимался в балетной студии. Поэтому мне поначалу так и понравилось первое заглавие статьи “Ленинская теория отражения в балетном искусстве”. Но и новое заглавие неплохое. Размышленчески-философское. Предлагаю тост за нового и многообещающего автора нашего журнала». Рамишвили подскочил: «Это аванс, который я постараюсь оправдать». И пригубил рюмку, а главный выпил целиком. И добавил: «Ну, а Владимир Карлович вам поможет!» Эта продажа меня в рабство вызвала, естественно, мое резкое неприятие. Я вообще-то человек, не очень умеющий злиться, но моим главным достоянием, моим богатством я всегда считал время. Как писал Сенека: «Только времени не возвратит даже знающий благодарность». Этот его афоризм я распечатал и прикрепил над своим письменным столом. Поэтому, запасмурнев, я сказал: «Уверен, что Герман Зиновьевич уже без помощи редактора справится. Редактор ведь не автор». Семенов нахмурился, но ничего не сказал. «Вадим Сергеевич, мы разберемся с Володечкой», — сказал Герман и попытался потрепать меня по плечу. «Уже разобрались!» — ответил я, снимая его руку с плеча.

Но Фагот ловко сменил тему разговора, обратившись к главному редактору: «Вадим Сергеевич, а скажите, какие-нибудь балеты, где вы участвовали, ваша студия ставила? Какой-нибудь вам запомнился?» Вдруг вполне серьезно Семенов ответил: «Да, это было “Лебединое озеро”. Я был в группе мальчиков, исполнявших танец маленьких лебедей. У нас очень хорошо получалось. И нас пригласили в Большой театр, где мы выступали перед самим Сталиным». И вдруг он вышел из-за стола. Бывают в жизни моменты, когда необходим приятель, которого можно было бы толкнуть локтем, чтобы он вместе с тобой оценил комизм ситуации. Но лица у членов редколлегии были вполне постные. А главный редактор, выпятив живот, вдруг сделал несколько па, припомнив свое сталинское детство. Никто не знал, как реагировать! Нашелся Рамишвили: «Браво, Вадим Сергеевич! — выкрикнул он и зааплодировал. — Сразу можно представить, как эффектно выступала ваша группа! — Он выскочил из-за стола и подхватил Семенова под локоть. — Садитесь, а то устанете». Я опустил глаза, чтобы не видеть этого бреда. Но выпивать продолжал.

Поднимались тосты. На халяву в советское время тоже любили выпить. А, может, даже больше, чем ныне. Ведь это была не взятка, за это в милицию не поведут, хотя, разумеется, взятки в СССР были, не в масштабах министра Сердюкова, но брали все, которые связаны были с материальными благами. Особенно свирепствовали чиновники, от которых зависело жилье. Правда, об этом как-нибудь в другой раз. По сравнению с этими взятками банкет в ресторане был невинным событием, просто советские философы покупались на фу-фу.

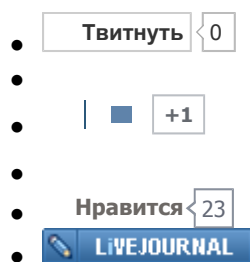
Герман пригласил оркестр, заиграли танго. В те годы принятый алкоголь сразу пробуждал во мне донжуанские инстинкты. Как шутили тогда, «не бывает плохих женщин, бывает мало водки». Но женщина за столом была одна, «жена», то есть жена Фагота. Поэтому, поднявшись и слегка пошатываясь, я попросил разрешения у Рамишвили потанцевать с его женой. «Володечка, тебе все разрешается, — воскликнул длинноносый разбойник с прохиндейским выражением на лице. — На этот вечер я тебе ее уступаю, даже дарю!» Женщина покраснела, но встала из-за стола и пошла мне навстречу. Послушная, как кукла-автомат из гофмановских фантазмагорий, вроде куклы «Песочного человека». Невольно я вспомнил слова Мудрагея: «Посмотри, нет ли у него копыт?»

Копыт, конечно, у него не было. Обычные башмаки. Копыта в такие не засунешь. Музыка стихла. Я улыбнулся, полуобнял ее за талию, ожидая следующего танца, и в тишине шепнул, слегка прижав ее: «А как жену-то у Рамишвили зовут? Не могу же я вас женой называть!» Она хмыкнула: «Женой? Смешно. Таня меня зовут». Заиграла музыка. Танцевать я всегда был не мастер, но танго казалось мне даже для меня доступным танцем: Обнять, прижать и топтаться на пяточке, поворачивая время от времени партнершу вокруг себя, прижимая тесно, так что ее груди прижимались к моему телу, что меня весьма сильно возбуждало. Она, не стесняясь, тоже прижималась, чувствуя, что возбуждает партнера, и сама возбуждаясь от этого. В какой-то момент я не выдержал и, целуя ее за ушко, прошептал: «Танечка, послушай! А что если я тебя уведу отсюда? Что муж скажет?» Она вдруг коротко рассмеялась: «А ты что, не понял? Не муж он мне. За двадцать пять рублей меня на сегодня нанял. Мы с тобой свободны!»

«Хорошо», — сказал я. Вернулся к столу. Взял свой портфель, и мы ушли. Как уж объяснил наш уход Рамишвили, я не знаю и знать не хотел. Примерно недели через две он заявился в редакцию, вызвал меня на черную лестницу и предложил написать за него кандидатскую диссертацию — за три тысячи рублей. Такое некоторые из моих коллег делали, но я был сыт. Я посмотрел на него и сказал: «Не жирно было б, не стошнило б». Он сказал: «Хм, а тебе Танька понравилась? Хочешь, я ее за тобой закреплю?» И я ответил, как тогда говорили, **уклончиво**: «А не пошел бы ты на х...»

И он отстал. Все же чувство неловкости у него было. Все же фагот. Интеллигент в какой-то мере. Одного не понимаю, зачем ему это было нужно. И статья, и Философское общество, в

которое он вступил. Так и остался музыкантом. Ни философской, ни партийной карьеры не сделал.



## Комментарии

### Охрана частной жизни и согласие на публичность

**"Чтобы как следует составить представление о проблеме приватности наших данных в Сети, достаточно вспомнить громкую историю, случившуюся в США около двух лет назад..."**



Наталья Хатальская

### **Политика в «Большом обществе»?**



**Английский теолог и политик Филипп Блонд об «одновременном» политическом коллапсе идеологий в Европе.**

*Михаил Гефтер* Интернет-журнал «Гефтер»  
Нравится

---

3 707 пользователям нравится Интернет-журнал «Гефтер».

Социальный плагин Facebook

Follow @gefter\_ru < 265 followers

**Интернет-журнал "Гефтер"**

*Михаил Гефтер* Интернет-журнал "Гефтер"  
Подписаны 112 человек

Подписаться на новости

**Он, Бухарин, примирился со сталинской Россией, он отождествил себя с этой действительностью, принадлежащей Миру, поелику не только жаждал, чтобы ее очеловечивающая струя заполнила все русло, но и верил в то,**

**Михаил Гефтер. Из статьи «Сказание о человеческом**

## ДОСТОИНСТВЕ»

Самое читаемое за месяц



•

**Александр Морозов**

[На пути к дому](#)

7 183



•

**Редакция**

[Жертвы века или самоучки «предательства себя»: к анализу 1970-х годов](#)

4 882



• **Михаил Рожанский**

**[Без-мятежная память. Постсоветская судьба декабристского мифа. Часть вторая. Назначены ответственными](#)**

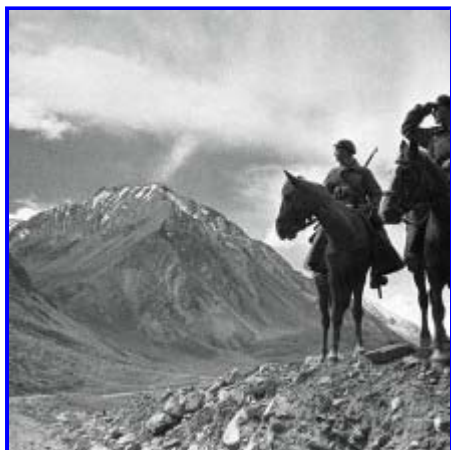
1 361



• **Леонид Бляхер**

**[Реальность глазами власти](#)**

1 073





**Леонид Бляхер**

**[Ибрагим-бек. История локайского Робин Гуда](#)**

**925**

**[Тезаурус](#)**

- [Сталин](#) (9)
- [Октябрь 1993-го](#) (7)
- [история](#) (7)
- [Горбачев](#) (4)
- [десталинизация](#) (4)
- [Контакты](#)
- [Партнеры](#)
- [О проекте](#)

© [Михаил Гефтер](#): история и политика, 2011-2014.

Дизайн и верстка - [Ивар Максудов](#) 